

И много ссть у Вас, кто не любит и клеветуют на Вас. Но от высокопоставленных лиц Вам уважение большое. У Вас такой работа умственный. Сейчас у Вас начинается дело такос: и все вокруг Вас говорят и Вы всем работу даете. Но это дело еще не Ваше дело. Ваше дело будет в 34 года. Теперь Вам изменение жизни предстоит в течение двух месяцев (август, сентябрь) и потом через 6 месяцев».

Он говорил еще о путешествии далеко за воду с юношей: черным; и о том, что я буду в Персии.

1911 год

*Зима 1911.*

У Голубкиной:

На двери надпись: «Не мешайте, пока светло для работы». Стою в недоумении. Но она отворяет, услышав шорох за дверью.

— Здравствуйте... ничего... входите уж... Помню Вас... Вы мне в Париже сказали, что мы по разным коридорам идем. Я об этих коридорах все шесть лет думала. Что же это Вы думаете, что действительно нельзя из одного коридора в другой заглянуть... Впрочем, здесь не те коридоры, я про Москву... Здесь я всё в этих коридорах хожу... Двери всё из них кругом, да заперты железными болтами... Да неужели ж ни к кому не достучишься? Да Вы прежде посмотрите, пока свет есть. Пойдите-ка в ту мастерскую, там лучше...

...Это вот хорошо, что Вы сказали: «Бесы веруют и трепещут». Нравится мне это... Почему бы это? Разве они бесы?..

...Нет, он не обезьяна... обезьяньего нет в нем... Я им сюда думаю сверху картину...

...Нет... этот не такой... Этот всё потерял и вдруг свободен остался. Этот деревянный, мертвый. Вот он здесь гипсовый — недоумение у него.

---

Она сама как микельанджеловская Сивилла, с мрачной, пригнетенной головой. В рваном вязаном платке.

3 ноября 1911.

Paris.

Стук ночью разбудил меня. Я отворил в одной рубашке. Это был Бальмонт. За его спиной немая женская фигура — Елена.

— Сюда нельзя. Одну минуту. Я сейчас оденусь. Он вошел, говоря несвязные и страстные слова:

— Макс, я пришел к тебе. Макс, я люблю тебя. Но ты не хотел позвать ее. Макс, позови ее, походи к ней навстречу. Макс...

Я в это время торопливо одевался за занавеской. Он сидел румяный, возбужденный. Казался страшно здоровым. В нем — фантастическая сила. Она рядом с ним маленькая, иссохшая. Почти старая. Худая до желтизны. С маленькой выдавшейся вперед челюстью. За пять лет она стала такой. Она была похожа на жену мастерового, которая, измученная ребенком, ходит за мужем по кабакам. Но он не замечал ее перемены и с пафосом бросал восторженные слова:

— Елена! Это Елена!

Потом он подошел ко мне близко. Его лицо с усиками и острой бородкой жантильома времен Луи XIII, с длинными волосами, розовое, было неприятно.

— Макс... Где?.. Пикать! Пикать!!

Я повел его. Он стоял, держа меня за руку. Я зажег спичку. Слышно было журчанье падающей струи. Он продолжал восклицать: «Я — Бальмонт! Я — поэт! Она — Елена!»

Было смешно и жалко.

---

Она сделала жест, что хочет писать. Я не понял. Бальмонт сразу пришел в бешенство.

— Дай ей лист... Она хочет писать...

Она, наклонившись, писала: «Постарайтесь его увести на Rue de la Tour...»

Он уже не обращал внимания и отсутствовал.

— Уходите... — сказал я ей, — я останусь с ним.

Она была измучена. Она кинула дома ребенка одного. Они провели уже много часов в кабаке (было 4 ч. утра). Она



была в легкой кофточке и вся дрожала и кашляла надрывчатым чахоточным кашлем. Она постаралась улизнуть незаметно.

— Куда ты?

— Мне надо посмотреть Мирочку... Я сейчас приду. — Он тотчас же забыл и почти не заметил, как она ушла.

---

Он присхал только что из Бретани, вызванный телеграммой Елены, у которой умер отец. На следующий день они должны были быть в суде. Несколько месяцев назад он, проходя ночью мимо городского, сказал: «Vive Liubeuf!». Его подхватили под руки. Он сказал Елене: «Закройте Ваш сак»... Слово «Ваш» сразу привело городских в исступление.

---

Мне надо было найти в суде адвоката Лафон и ту палату, в которой разбиралось его дело. Но там было 8 адвокатов по имени Лафон и 12 камер. «Грефье», к которому я обратился, говорил:

— Так Вы говорите, что Ваш друг судится за оскорбление полиции... Это очень трудно сказать, в какой камере будет разбираться его дело. Вы уверены, что не за воровство? Знаете, это очень жаль. Потому что, если бы за воровство, я бы Вам сейчас же указал. Очень, очень жалею, что он не вор... но ничего не поделаешь — дело передано уже в отдельные камеры. Справьтесь там.

---

Когда я зашел на Rue Campagne I, чтобы предупредить Ел<ену> о том, что дело отсрочено, — их комната была заперта. Мирочка в одной рубашке, слишком короткой, делала кокетливые жесты руками и ногами и спрашивала: «Ты меня любишь?»

Когда мы разговаривали с Еленой в узкой кухне, приотворил дверь Бальмонт. Теперь он был изможден, пятнист и страшен. Он не узнавал меня. То начинал смеяться, то приходил в бешенство. Он был в таком же костюме, как Мирочка, и так же наивно бесстыден, как она. Чтобы избавиться от

жестов и слов, которые могли длиться бесконечно, я быстро выбежал в дверь и ушел. Он делал попытку гнаться за мной по лестнице.

*6 ноября.*

Вчера я был у Бальмонта. Он пришел в себя.

— Я ничего не помню, что было. Помню только почему-то тебя в ярком ореоле.

— Это когда ты увидел меня в кухне против окна.

*16/XI.*

Редон сказал мне, говоря про кубистов: «C'est une plaisanterie scholastique»\*.

От снов дремучих бытия,  
Меня повсюду обступивших.

В мире вождельсий безобразных  
Кошунство юной красоты.

И ныне стало так далеко  
Еще недавнее «вчера».

1912 год

*1912. 19 января.*

Бальмонт лежит навзничь на диване, закинув руки за голову. Я сажусь рядом и кладу руку на его колено. Оно острое. Нога кажется сломанной.

— Макс, ты хотел сказать мне о... дуэли. Я не хочу быть нескромным. Но я не хотел бы, чтобы осталась хоть черта между нами...

Я рассказываю: рассказываю то, что можно, и умалчиваю о том, чего нельзя. Но ему важен не мой рассказ. Он волнуется собственными воспоминаниями.

...Можно ли смыть обиду...

---

\* Это схоластическая шутка (фр.).



— Валерий сделал то же, что ты Гумилеву... Я почувствовал, что пол-лица омертвело... Я провел тридцать шесть часов в бреду. Я не мог его вызвать. У меня была клятва, данная еще юношей, перевести Шелли. Его жена ждала ребенка. Я пришел к нему и спросил: «Зачем ты это сделал?» Он стал на колени и целовал мои руки. Мы тогда с ним стали на «ты». Нельзя было иначе. О, как это всё было. Я присхал только что с Балтийского моря. Я только что кончил «Только любовь». Это были самые ясные дни подъема. Я помню день в Петербурге с Вячеславом, с которым мы неожиданно стали тогда говорить «ты». Он водил меня по крыше. Но я шепнул Катс: уедем сегодня же в Москву. Я утром ехал с Грифом. Мы остановили автомобилиста, который раздавил мужика и хотел бежать с мужиком в колесе. Мы его схватили и предали полиции. Встретили Валерия. Он сказал, мотнувши головой: «Знаете ли, что автомобилям принадлежит будущее». Потом мы поехали на скачки. Играли. Я выигрывал. Но когда я играл вместе с Валерием, то проигрывал. Это меня раздражало. Я проиграл все, что выиграл. Мы поехали в ресторан: Гриф, Юргис, Валерий, Сережа Поляков. Мне хотелось заставить их чувствовать себя. Но им этого не хотелось. Они стали играть в домино. «Оставьте игру, давайте разговаривать, а то я выкину за окно». Я взял в горсть костяшки и бросил за окно. Сер<гей> Пол<яков> сейчас же сказал лакею: «Пойдите, там упало домино». Но он, конечно, ничего не нашел. Я что-то начал говорить Валерию: «Я не хочу, чтобы играли... Я из-за Вас проигрывал на скачках... это шулерство...» Он ударил меня... Я спросил почти спокойно: «Что это значит?»

«Это значит, что Вы всем нам надоели...» — и с перекошенным лицом пошел из зала...

Меня в тот вечер ждала Нин<а> Ив<ановна>. Я не поехал к ней. Я поехал в публичный дом. Поднялся в отдельную комнату, разделся и лег с девушкой, как брат с сестрой: и когда она делала жесты любви, то я отстранял ее рукой. Так я пролежал всю ночь и думал свои мысли. Потом ходил по улицам. Но не мог и пошел к Валер<ию>. Они кончали обедать. Он встал сумрачный, и мы прошли в его комнату.

И когда он на коленях целовал мои руки и плакал скрупыми слезами, мне лицо его казалось обезьяньим...

19<sup>22/11</sup> 12.

*Москва.*

Богасевский о смерти Куинджи: «Он умирал, как Прометей. У него было сознание всего. Он говорил “об людишках, которые налипли”. Иногда кричал: “Да знаете ли, кто умирает? Ведь Куинджи умирает... Поди раствори балкон, крикни им, что Куинджи умирает”».

Разговор этот происходит у Кандаурова, на чердаке Малого театра, в трехэтажной, из трех комнат, квартире, за обедом. Присутствуют Грабарь, Латри, Богасевский. Лицо Грабаря вполне определилось в своей некрасивости за эти годы. У него череп бердслеевских зародышей: с большой выпуклостью на лбу. Нос утиный, с переносицей, сильно приподнятой нажимом пенсне. Губы маленького рта подвижны и кривятся вверх. Подбородок конически острый. Затылок отсутствует. Шея сильная и широкая.

Накануне у П. Иванова я видел Арцыбашева. Он был в сапогах бутылками, бархатной рубашке, подпоясанной широким кожаным поясом. У него был вид чистый и немного противный: слишком домашний, как у человека, вернувшегося из бани. Он больше молчит. Голос его похож на голос Ф. Сологуба. Слова негромкие, мягкие, лысенькие; тон голоса сладко презрительный. С ним была маленькая женщина в черном, стройная и юная, которая, очевидно, владеет им. Голос у нее был хрустально-мещанский, четкий и резкий. Она говорила не крикливо, но ни одного ее слова нельзя было прослышать среди общего разговора. С Арц<ыбашевым> она обращалась оскорбительно навязчиво, как с глухонемым идиотом, «бабьим своим счастьем похваляясь». Когда за ужином его обнесли соусом, она, указывая пальцем на его тарелку, сказала с негодованием павлиньим голоском на весь стол: «А сюда Вы забыли дать».

*2 декаб<ря> 1912.*

Последние дни в Коктебеле. Восемь месяцев живописи. Вчера дорисован последний лист картона. Послезавтра мы едем в Москву.



1913 год

*3 января 1913*

Сегодня началась работа с Суриковым. Номер в «Княжьем дворе», жарко натопленный. Он сам среднего роста. Густые волосы с русой проседью подстрижены в скобку. Жесткие, короткие и слабо вьющиеся в бороде и усах. Вид моложавый. Ему нельзя дать 65 лет (он родился в 1848). В наружности что-то простое, народное. Но не крестьянское. Закалка более крепкая, и скован он круче, чем Гр<игорий> Петров, например, несмотря на волчьи брови того и легкие глаза этого.

«Я родом из казацкой семьи. Предки мои пришли в Сибирь вместе с Ермаком. Потом в XVII веке переселились и основали Красноярск. Я в Красноярске родился. У меня прекрасное детство было. Простор. Енисей течет на 5000 верст, а против нас в версту ширины. Тут и купанье. И под плотами нырял. А за городом холмы — посмотришь на восток и краю неведомой земле нет. Книгу у нас в семье любили. А рисовать я с самого детства начал. Еще помню, совсем маленьким был, на стульях сафьяновых рисовал, пачкал. И из дядей моих один рисовал. Мать моя не рисовала. Но раз нужно было казачью шапку старую нарисовать. Так она неуверенно карандашом нарисовала — я сейчас же увидел ее.

Главное, я красоту любил. Во всем красоту. В лица вглядывался, как глаза расставлены, как они составляют черты лица. Изображение из Казанского собора ? работы Шебуева было у нас, так я целыми часами смотрел на него. Не мог от протянутых рук оторваться. Всё смотрел вот, как тут рука — ладонь сбоку лепится. Комнаты у нас в доме были большие и низкие. Мне маленькому фигуры казались громадными. Я поэтому всегда старался или горизонт низко очень поместить или чтобы фону было мало, чтобы фигура больше казалась».

Я прошу его показать мне руку. Рука у него маленькая, тонкая, не худая, с очень красивыми пальцами, сужающимися к концам, но не острыми. Линии четкие, глубокие, цельные. Линия головы четкая и короткая. Меркуриальная глубока и удвоена и на продолжении головной образует звез-

ду, одним из лучей которой является уклонение Аполлона в сторону Луны.

Я говорю: «У Вас громадный запас наблюдательности. Даже то, что вы видели мельком, остается четко в глазах. Разум у Вас четкий, ясный. Он не заходит в области более глубокие и предоставляет полный простор бессознательному. Если бы не громадное развитие наблюдательности, вы бы могли быть мечтателем в искусстве, но идея, только что появившись у Вас, тотчас же облекается в формы».

Он меня перебивает: «Да, вы вполне правы. Вот у меня было так: в Сибири я ночевал в холодной избушке, дождь шел. И явилась вдруг мысль: кто же это так же сидел в избушке?.. Меншиков... Сразу всё пришло. Так всю композицию целиком увидел. Только еще не знал, как я княжну посажу. И вот свеча представилась, и белая рубаха. Отсюда вся “Казнь стрельцов” пошла. Увидел ворону с раскрытыми крыльями на снегу. Долго не мог этого пятна забыть. Отсюда “Боярыня Морозова” вышла».

Кроме того, рука Сурикова выражает редкую непосредственность. Холм Венеры только у самой линии жизни прегражден несколькими отрывочными линиями, указывающими лишь на внешнее случайное замыкание перед людьми. Линия сердца главным руслом недалеко огибает Сатурна, но боковой и очень четкой линией узорно проходит через весь холм Юпитера и направляется к самому центру пальца, знаменуя сердце благосклонное и благородное. В заключение он говорит мне:

«Я сам знаю. Мне всегда хотелось знать о художниках то, что Вы хотите обо мне сделать. И не находил таких книг. А я Вам о себе всё расскажу по порядку. Ведь я сам писать не умею. Думал, так моя жизнь и пропадет вместе со мною. А тут все-таки кое-что и останется».

*5 янв<аря>.*

Второе свидание с Суриковым. Он, видимо, приготовился к нему. Достает книги и рукописи. Мы начинаем говорить о роде его. Он достает статью о Красноярском бунте против



восводы Дурново, читает вслух отрывки, при каждом казацком имени восклицая: «Это ведь родственники всё мои»; «С Многогрешными я учился»; «Это мы-то воровские люди». Предки его были с Дона. Суриковы еще сохранились в Верхне-Ягирской и Кундрюченской станицах. Основали Красноярск в 1622 г. «После, как они Ермака потопили — пошли вверх по реке, основали Енисейск, потом красноярские Остроги — так места укрепленные часто казаками назывались». Но скоро он отвлекается от исторических справок и начинает говорить о себе: «У нас народ другой, чем в России: вольный, смелый. В семье у нас все казаки. До <18>25 г. простыми казаками были, а потом офицеры пошли. А раньше всё сотники, десятские Суриковы. Дед мой Александр Степанович был полковым атаманом. Подполье у нас было полно старыми казацкими костюмами, еще старой екатерининской формы. Кивера с помпонами. Не красные еще мундиры, а синие. Помню, еще мальчиком, как только войска идут, сейчас к окну — сядишь там. А внизу все мои сродственники идут, командирами. И отец, и дядя Марк Васильевич. И в окно грозят мне рукой. И край-то какой у нас. Сибирь западная плоская. А за Енисеем у нас уже горы начинаются. К югу тайга. А к северу холмы. Глинистые, розово-красные. И Красноярск — отсюда имя. Про нас говорят: “Красно-яры сердцем яры”. На Енисее остров Татышев и Атаманский. Этот по деду назвали. Горы у нас целиком из драгоценных камней — порфира, яшмы. Енисей быстрый, холодный, чистый. Бросишь в воду полено — его уже бог весть куда унесло. Мальчиками мы что только, купаясь, не делали. Я под плоты нырял. Нырнешь — и тебя водой внизу несет. Помню, раз я вынырнул раньше. Под балками меня волочило. Балки скользки: несло быстро, и небо мелькало в щели синее. Вынесло, однако. А на Каче плотины были, так мы оттуда, аршин 6–7 высоты, по водопаду вниз ныряли. Нырнешь, и вместе с пеной до дна несет, бело всё в глазах: и надо на дне в кулак песка захватить, чтобы показать. Песок чистый, желтый. А потом с водой на поверхность вынесет. Лет 8-ми меня отец на охоту с собой брал. Лесами мы ходили.



А вот первое, что у меня в памяти осталось, это наши поездки зимой в Торгошинскую станицу. Мать моя из Торгошиных была. А Торгошины по ту сторону Енисея перед тайгой жили. Старики жили неделиные. Семья была богатая. Они торговые казаки были, торговлей занимались. Чаи возили от Томска до Иркутска. Старый дом помню. Мощный двор был. Там в Сибири тесаными бревнами дворы мостят. Там весь воздух казался старинным. И песни пели старинные. Старые иконы и костюмы. И сестры мои двоюродные, девушки совсем такие, как в былинах поется. Двенадцать их девушек было в семье. Рукоделием они занимались, гарусом вышивали, на пялицах вышивали. Пели песни тонкими певучими голосами. Дочери дяди Степана Таня, Фаля, Маша...

Вот помню — едем через Енисей зимой. Сани высокие. Мать не позволяла выглядывать. А все-таки через край посмотришь: глыбы ледяные столбами стоймя кругом стоят, точно дольмены. Енисей на себе лед сильно ломает, друг на друга их громоздит. Пока по льду едешь, то сани так с бугра на бугор и кидает. А станут ровно идти, значит на берег выехали. Вот на том берегу я в первый раз видел, как “Городок” брали. Мы от Торгошиных ехали. Толпа была. Городок снежный. И конь черный прямо мимо меня проскочил, помню. Это, верно, он-то у меня в картине и остался. А потом много “городков снежных” видел. По обе стороны народ стоит. А посреди снежная стена. А лошадей от нее отпугивают криками, бьют. И вот, чей первый конь сквозь снег прорвется. А потом приходят люди, что городок делали, денег просить. Ведь художники. Так они и пушки ледяные, и зубцы — всё сделают.

Помню, как старики Феод<ор> Егор<ович>, Матв<ей> Егор<ович> гулять начнут и на двор в халатах шелковых выйдут и поют: “Не белы снеги”. Дядя Степан Феодор<ович> с длинной черной бородой. Это он у меня-то был в “Стрельцах” — тот, что, опустив голову, сидит, “как агнец, жребию покорный”.

Там старина была. У нас другое дело. Дом новый. Старый суриковский дом, вот о котором в истории Краснояр-



ского бунта говорится, я в развалинах помню. Там уже не жил никто. Потом он во время пожара сгорел. А наш новый был — в 30-х годах построенный.

Дяди Марк Васильевич и Иван непокорные были. Когда после смерти дедушки другого атаманом назначили, им частенько приходилось на гауптвахте сидеть. Они оба молодыми умерли. От чахотки. На парадах простудились. Времена были николаевские. При сорокаградусных морозах в одних мундирчиках. А богатыри были. Помню похороны Марка Васильевича, лошадей его за гробом вели. Мы, дети, ему, когда он в гробу лежал, усы закрутили, чтоб у него геройский вид был. Они образованные были. Много книг выписывали. Журналы “Современник” и “Новоселье” получали. Я Мильтона “Потерянный Рай” читал в детстве. Пушкина и Лермонтова. Лермонтова очень любил. Дядя Иван Васильевич на Кавказ одного из декабристов переведенных сопровождал. Вот у меня есть еще шашка, что тот ему подарил. Так он оттуда в восторге от Лермонтова вернулся. Я из их ссыльных сам, когда мне 13 лет было, Петрашевского-Буташевича видел. Мать всегда в старый собор ездила причащаться. Так она там декабристов Бобрищева-Пушкина и Давыдова видела. Они всегда впереди всех в церкви стояли, шинели с одного плеча спущены. И никогда не крестились. А во время ектеньи о Николае I демонстративно уходили из церкви.

Жизнь в Сибири была жестокая. Совсем XVII век. Казнили. Плетями наказывали. Я мальчиком еще бегал смотреть. Разбои всегда. На ночь как в крепость запирались. Вот моей матери приданое украли. Я помню — еще совсем маленьким был. Спать мы легли. Я у отца всегда «на руке» спал. Брат, сестра. А старшая сестра Елисавета от первого брака в ногах спала. Утром мать просыпается: “Что это, — говорит, — по ногам дует?” Смотрим, а дверь разломана. Так грабители через нашу комнату прошли. Ведь если б кто из нас проснулся, так они всех бы нас убили. Но никто не проснулся, только сестра Елисавета помнит, что точно ей кто-то ночью на ногу наступил. И всё с собой унесли. Потом еще платки по дороге на заборе находили. Да матери венчальное платье на Енисее пузырями всплыло — его потом к берегу прибило. А всё ос-



тальное так и погибло. Вот у меня тут, я вам покажу, немного осталось».

Он достает узелок и вытаскивает несколько кусков шелковых и парчевых тканей. «Вот этот платок бабушка моя на голове всегда носила». Треугольный — половина квадратного разрезанного от угла до угла, платок из парчевой материи, красновато-лиловый с желтизной, и золотым тканьем, платок хранит жесткие, привычные складки, которыми он ложился вокруг лица. «Это, значит, для двух сестер купили, но пополам разрезали». Тут же он достает портрет (фо<то>граф<ию>) своей матери в гробу. Она лежит с лицом старой крестьянки в крестьянском платке на голове. Лицо кажется спокойным и монументальным. В нем и кованость, и чеканка. Морщины глубокие и прямые. В<асилий> Ив<анович> типом походит на нее. Затем он рассказывает о других случаях опасности от разбойников: как рабочий ломился к ним пьяный в кухню и зарезать хотел, как они успели запереться и через окно позвать из казачьего приказа казаков. Как, еду с матерью (ему было 17 лет), из тайги вышел человек в красной рубаше и поворотил лошадей в тайгу, молча. «Потом мама слышит, он кучеру говорит: “Что ж, до вечера управимся с ними?” Тут мать раскрыла руки и начала молить: возьмите всё, что есть у нас, только не убивайте. А в это время навстречу священник едет. Тот человек в красной рубашке соскочил с козел и в лес ушел. А священник нас поворотил назад, и вместе с ним мы на ту станцию, откуда уехали, вернулись. Я только тогда проснулся. Всё время спал».

Разговор переходит к первым живописным опытам: «Очень я красоту композиции любил. И в картинах старых мастеров больше всего композицию чувствовал. А потом начал ее и в природе всюду видеть. Я гравюры всегда срисовывал. И тонко-тонко. “Благовещенье” Боровиковского и “Ангела Молитвы” Неффа. Рисунки Рафаэля и Тициана. У меня много этих рисунков было. А теперь только три осталось. Все в Академии пропали. Я их вам покажу. А вспоминаю, дивные рисунки были. Так тонко сделанные. Когда меня в Академию хотел губернатор Замятнин определить, — я их все собрал, их туда отправили. А ответ пришел:



если хочет схать на свой счет — пусть едет, а мы его <на> казенный счет не берем. А потом, когда я приехал уже в Петербург, меня спрашивает профессор Шренцер: “А где же ваши рисунки?” Перелистал. “Это? — говорит. — Да за такие рисунки вам даже мимо Академии надо запретить ходить”. И потом у него все эти рисунки так и пропали».

8 янв<аря>.

Суриков продолжает свой рассказ: «Мне лет 6 было, когда отца перевели в Бузимскую станицу в 1854 г. Вот там у меня впечатления природы начались. Помню, и рисовал уже тогда. Петра Великого с черной гравюры рисовал. А краски от себя. Мундир синькой, а отвороты брусничкой. Оттуда меня в Красноярск в наш старый дом привозили.

Дядя Марк Васильевич, он уже болен тогда был, вслух мне “Юрия Милославского” читал. Это первое литературное произведение, что в памяти осталось. Я так вот, прижавшись к нему под руку, слушал. Помню, всё мне представлялось, как это Омляш в окошко заглядывал. Марк Васильев<ич> в декабре умер. 11 декабря. Так и помню, как он читал. Невысокая комната с сальной свечкой. А грамоте я уже после его смерти 8<-ми> лет учиться начал. В Бузиме мне было вольно жить. Верхом я ездил. Пара у нас лошадок была: Соловей и рыжий конь. Раз я через голову лошади полетел. Охотился уже с *кремневым* ружьем. В школу в приходское училище меня с 8 лет отдали. Интересное тут со мной событие случилось. Вот я Вам расскажу. Пошел я в училище. А мать мне рубль пятаками дала. А в училище мне идти не захотелось. А тут дорога разветвляется по Каче. Я и пошел по дороге в Бузим. Вышел в поля. Пастухи вдали. Я верст шесть прошел. Потом лег на землю, стал слушать, как в “Юрии Милославском”, нет ли за мной погони. Вдруг вижу вдали пыль. Глядь, наши лошади. Мать едет. Я от них, с дороги свернул, прямо в поле. Остановили лошадь. Мать кричит: “Стой! Стой! Ведь это наш Вася!” А на мне такая маленькая шапочка была, монашеская. “Ты куда?” И отвезли меня назад в училище.

А на охоте я в первый же раз птичку застрелил. Сидела она, я прицелился, она и упала. И я очень возгордился. И раз



от отца отстал. Подождал, пока он за деревьями мелькает, и один остался в лесу. Иду. Вышел на опушку: а дом наш бузимский на яру, как фонарь, стоит. И отец с матерью смотрят, меня ищут. Я не успел спрятаться, он увидал меня. Отец меня драть хотел. Тянет к себе. А мать к себе. Так и отстояла меня. Мать моя удивительная была. Вот вы ее портрет видели. Она никогда меня не била. На своей свадьбе только губы в шампанском помочила. И я в нее, никогда не пил вина. И не хотелось.

Отец мой в 1859 году в Бузиме умер. Мы тогда в Красноярск вернулись. Меня в уездное училище отдали. Я четыре класса прошел, курс кончил. Вот там учитель был рисования Гребнев. Он из Академии был. У нас иконы писал на заказ. О Брюллове мне рассказывал, об Айвазовском, как тот воду пишет — что совсем как живая. Я потом его кавказские виды видел, уже когда художником был: ведь это благоухание, как формы облаков знал. Так вот Гребнев меня учил рисовать. Чуть не плакал надо мною. Приносил гравюры, чтобы я с оригинала срисовывал. А потом брал меня с собою и акварельными красками заставлял сверху холма город рисовать. Плен-Эр. Мне 11 лет было.

А лучше мне всего в Бузиме было. Это к северу от Красноярска 60 верст. Место степное. Село. Из Красноярска целый день лошадьми сжали. Окошки там слюдяные. Песни, что в городе не услышишь. Масляные гулянья. Христославцы. Всё это я мальчиком 6 лет видел. В детстве я всё лошадок рисовал, как все мальчики. Только ноги всё у меня не выходили. А у нас был работник Семен, простой мужик. Он меня научил ноги рисовать. Начал их по суставам рисовать: вижу, гнутся у его коней ноги, а у меня никак не выходило. Это у него анатомия, значит».

Тут Вас<илий> Ив<анович> вытаскивает ряд своих детских и юношеских рисунков. Это акварельные копии с гравюр («Благовещение» Боровиковск<ого>, «Ангел Молитвы» Неффа). «Ведь вы посмотрите, какая тонкость. Вид. Это удивительно сделано. Я помню, рисовал. Не выходило всё. Я плакать начинал. А сестра Катя утешала: “Ничего, выйдет!” И я еще раз начинал, и выходило. И ведь краски здесь мои.



Я это с черных гравюр рисовал. А потом в Петербурге смотрел — ведь похоже, угадал. Ведь вот как эти складки тонко здесь. И ручка. Очень эта ручка мне нравилась. Так тонко лепится...

А вот я Вам еще расскажу. Там в Сибири у нас такие проходимцы бывают. Появится неизвестно откуда, потом уедет... Вот один такой на лошади проезжал. Прекрасная была лошадь у него, Васька. А я сидел рисовал. Предлагает: “Хочешь покататься — садись”. Я и на его лошади катался. А раз он приходит, говорит: “Можешь икону написать?” У него, верно, заказ был. А он сам-то рисовать не умеет. Приносит большую доску разграфленную. Достали мы краски немного, краски четыре. Красную, синюю. Растерли их. И стал я писать. Богородичные праздники (?). Как написал, понесли ее в церковь святить. У меня сильно зубы болели. Но я все-таки побежал ее смотреть. Несут ее на руках. Она такая большая. А народ крестится. Ведь икона... освященная... И под икону ныряют, как под чудотворную. А когда святили ее, священник отец Василий (?) спросил: “Это кто же писал?” — Я, — говорю. “Ну, впредь икон не пиши”. А потом, когда в Сибирь приезжал, ее смотрел. Брат говорит: “Ведь икона твоя всё у того купца. Поседем посмотреть”. Оседлали коней, поехали. Посмотрел я на икону: так и горит. Краски такие полные, цельные: большими синими, красными пятнами. Очень хорошо. Ее у него красноярский музей хотел купить. Ведь не продал. Говорит: “Вот я ее поновлю. Еще лучше будет”. Меня такая тоска взяла...

После окончания уездного училища поступил я в четвертый класс гимназии, тогда в Красноярске открылась. Но курса не кончил. Перейдя в 7 класс, я в Петербург уехал. Один золотопромышленник, Петр Иванович Кузнецов, взял меня в Петербург. А я ведь еще до него план составлял идти пешком в Петербург. У нас ведь средств не было. Мы с матерью план составляли. Пойду я с обозами. Она мне 30 р. давала. Так и решили. Раз я пошел в собор. А я ничего не знал, что Кузнецов обо мне знает. Он ко мне в церкви подходит и говорит: “Я твои рисунки знаю, я тебя в Петербург беру”. Я прибежал к матери. Говорит: “Ступай, я тебе не запрещаю”. Я через 3 дня



и усхал. 11 декабря 1868 года. Морозная ночь была. Звездная. Улицу так помню. И мама темной фигурой у ворот стоит. Кузнецов рыбу в Петербург посылал. В подарок министрам. Я с обозом и поехал. 4 месяца мы сжали. Больших рыб везли. Я на верху воза на большом осетре сидел. В тулупчике мне было холодно. Коченел весь. Вечером придешь, пока отогрешься. Водки немного мне дадут. Тут уже спим – иначе нельзя. Потом в пути я себе доху купил.

Барабинские степи пошли. Едут там с одного извозничьего двора до другого. Когда запрягают, то ворота на запор. Готово? Ворота настешь. Лошади так <и> вылетят. В снежном клубе так и мчатся. И вот еще было у нас приключение. Может, не стоило бы рассказывать? Да нет, расскажу. Подъезжали мы уже к станции. Большое село сибирское у реки внизу. Огоньки уж горят. Спуск был крутой. Я говорю: “Надо лошадей держать”. Мы с товарищем подхватили пристяжных, а кучер коренника. Да какой тут. Влетели в село. Коренника он, что ли, неловко повернул. Только мы на всем скаку вольт сделали прямо в обратную сторону, и все так и посыпались. Так я... Там окошки пузырьные – из бычачьего пузыря делаются. Так я прямо головой в такое окошко угодил. Как был в дохе – так прямо внутрь избы влетел. Старушка там стояла, молилась, она как закрестится. А ведь не попади я головой в окно, наверное бы насмерть убился. И рыба вся рассыпалась. Толпа собралась. Подбирать помогали. Собрали всё. Там народ честный.

19 февраля 1869 г. мы присхали в Петербург. На Владимирском остановились на углу Невского. Гостиница “Родина”. До самого Нижнего мы на лошадях сжали 4½ тысячи верст. Там я доху продал. Оттуда уже жел<сзная> дор<ога> была. В Москве я только один день провел. Соборы видел».

*12 янв<аря>.*

Наша беседа с В<асилием> И<вановичем> начинается разговором о казнях.

«Мощные люди были, сильные духом. Размах во всем был широкий. Декабристы интеллигенцию в Сибири очень подняли. Потом в 30-х годах приискатели появились. А нра-



вы жестокие были. Казни и телесные наказания на площадях публично происходили. Бывало, идем мы детьми из училища. Кричат: “Везут! Везут!” Мы все на площадь бежим за колесницей. Палачей дети любили. Они там прохаживаются в красных рубахах, широких портах. Геройство было, размах в ударе. Вот я Лермонтова понимаю. Помните, как у него о палаче: “Палач весело похаживает...”. И преступники так относились. Сделал, значит расплачиваться нужно. Молча терпели. И к палачам было другое отношение. Красота во всем была. И ужаса никакого не было. Скорее восторг. Нервы всё выдерживали. Ведь это теперь дряблые люди.

Мальчиком я в Красноярске покучивал с товарищами. И водку тогда пил. Раз 16 стаканов выпил. И ничего. Весело стало. Помню, как домой вернулся, мать меня со свечами встретила. Только это Вы не пишите про меня, что я водку пил... Двух товарищей моих в то время убили. Был товарищ у меня – Митя Бурдин. Едет он на дрожках. Как раз против нашего дома лошадь у него распряглась. Я говорю: “Митя, зайди чаю напиться”. Говорит, некогда. Это 6 октября было. А 7-го, земля мерзлая была, народ бежит, кричат: “Бурдина убили!”. Я побежал с другими. Вижу, лежит он на земле голый. Красивое, мускулистое у него тело было. И рана на голове. Помню, подумал тогда: вот если Дмитрия Царевича буду писать, его так напишу. Его казак Шаповалов убил. У женщин они были. Тот его заревновал. Помню, как на допрос его привели. Сидел он так, опустив голову. Мать его спрашивает: “Что ж это ты наделал?” “Видно, – говорит, – черт попутал”. У нас совсем по-иному к арестованным относились. Помню, раз женщину-мужеубийцу к следователю привели. Она у нас в доме сидела. Матери ночью понадобилось в подвал пойти. Она всегда всё сама делала. Не держала прислуги. Говорит ей: “Я вот одна. Пойдем, подсоби мне”. Так вместе с нею и пошла. Ничего.

А другой у меня был товарищ: Петя Чернов. Мы с ним франты были. Шелковые шаровары носили, поддёвки. Шапочки ямщицкие. Оба кудрявые. Заходит он в первый день Пасхи. Лед еще не тронулся. Говорит: “Пойдем на Енисей в прорубь рыбу ловить”. “Что ты? в первый-то день празд-



ника?” И не пошел. А потом слышу, Петю Чернова убили. Поссорились они. Его бутылкой по голове и убили, и под лед спустили. Я потом его в анатомическом театре видел. Распух весь. И волосы совсем слезли: голый череп.

Широкая жизнь была. Рассказы разные ходили. Священника раз вывезли за город. Раздели. Говорили, что это демоны его за святую жизнь мучили. Разбойник под городом в лесу жил, вроде как Соловья Разбойника. И в девушках была красота особенная: древняя, русская. Крепкие, сильные. Волосы чудные. Всё здоровьем дышало. Дед был в Туруханске сотником. Там ясак собирал, присылал нам. Дом наш строился соболями и рыбой. Тетка ездила к нему. Рассказывала про северное сияние. Солнце, как медный шар. Когда уснула, он ей полный подол соболей наклал. Когда я остяков рисовал: совсем северо-американск<ие> индейцы. И повадка такая, и костюм. Татарские могильники со столбами. Они там курганами называются».

«Семья у нас была небогатая. “Суриковская заимка” была — покосы. К музыке у меня любовь от отца. Он был певчим у губернатора Енисейской губернии. Тот его всюду с собой возил. Помню, он в дет<с>тве “кантики” пел. Он в 1859 (род<ился> 1804) умер. В Бузиме. Мама потом на могилу его ездила плакать. Меня с сестрой Катей брала. Причитала на могиле по-древнему. Мы ее всё уговаривали, удерживали. Когда мы в Бузиме жили, то я домой только на побывку приезжал. А жил первый год у атаманских Алекс<андра> Степ<ановича>, он-то уже помер тогда. А потом у крестной Ольги Матвеевны Дурандиной. У атамана в доме были картины масляные в старинных рамах. Одна была: рыцарь умирающий, дама ему платком рану затыкает. А потом два портрета: генерал-губернато<ро>в Лавинского и Степанова. У Дурандиной тоже была большая масляная картина, сажженная. Фигуры до колен: старик Ной благословляет Иафета и Сима, тоже стариков, а Хам черный в стороне стоит. А на другой Давид с головой Олоферна. Картины эти Хозяинова были, ведь он живописец был.



Александр Степан<ович>, атаман, умер в 1853 г. Я его маленьким только помню. Он раз сказал: “Сшейте-ка Вас шинель. Я его с собою на парад буду брать”. Он на таких дрожках с высокими колесами ездил...»

(Нестеров рассказы<вал>: «Что, Вам Вас<илий> Ив<анович>, верно, про своего деда атамана рассказывал. У того лошадь старая была, на которой он всегда на охоту ездил. И так уж приноровился, положит ей между ушей винтовку и стреляет. А охотник был хороший. Никогда промаху не давал. Но как начал стареть, давно уж на охоту не ездил. Но вздумал раз оседлать коня. И он стар, и лошадь стара. Приложился. А лошадь-то и поведи ухом. Дал промах. В первый раз в жизни. Он так обозлился, что тут же лошади в ухо зубами вцепился»).

«Приехал я в Академию в феврале. Я Вам рассказывал, как инспектор Шренцер посмотрел мои рисунки и сказал: “Да Вас мимо Академии пускать не следует”. А в апреле экзамен. Помню, мы с Зайцевым — он архитектором после был — гипс рисовали. Академик Бруни не велел меня в Академию принимать. Помню, вышел я. Хороший весенний день был. На душе было радостно. Рисунок свой разорвал и по Неве пустил. Поступил тогда в Школу поощрения худ<ожеств> к Дьяконову и три месяца гипсы рисовал. И научился во всевозможных ракурсах, нарочно самые трудные выбирал. За эти 3 месяца я 3 года курс прошел и осенью в головной класс экзамен выдержал. Там еще композиции не подавались. А я слышал, какие в натурном задаются, и подавал. Я пять лет пробыл в Академии. И научные классы прошел. Горностаев по истории искусств читал. Мы очень любили его слушать. Прекрасный рисовальщик был: нарисует фигуру — одной линией — Аполлона или Фавна — мы целую неделю с доски не стирали. Гетнер читал анатомию, Эвальд — русскую словесность. Клодт (?) начертательную геометрию. Я в Академии больше всего композицией занимался. Меня там композитором звали. Я всё естественность и красоту композиций изучал. Я дома себе сам задачи задавал и разрешал. Я образцов никаких не признавал. Всё сам. А в живописи только колоритную сторону изучал. Павел Петрович Чистяков очень



развивал меня. Я это еще и в Сибири любил. А здесь он мне указал путь истинного колориста.

Я ведь со страшной жадностью к знаниям приехал. В Академии классов не пропускал. А на улицах всегда группировку людей наблюдал. Приду домой и сейчас зарисую, как они комбинируются в натуре. Ведь этого никогда не выдумаешь. Случайность приучился ценить. Страшно я любил ракурсы. Всегда старался дать всё в ракурсах. Они очень большую красоту композиции придают. Даже смеялись надо мною. Но рисунок у меня был нестрогий, подчинялся всегда колоритным задачам. Кроме меня только у одного ученика Лучшева, единственного, колоритные задачи были. Он сын кузнеца был. Мало развитой человек он был и многого себе усвоить не мог. И умер рано.

А профессора... Нефф и по-русски-то плохо говорил. Шамшин всё говорил: “Поковыряйте-ка в носу, покопайте-ка в ухе”. Первая моя композиция в Академии была – “Как убили Дмитрия Самозванца”. Но больше всего мне классические композиции дали. За “Пир Валтасара”, – как к нему пророк Даниил приходит, – я первую премию получил. Она в “Иллюстрации” воспроизведена была. Она в Академии хранится. Слава Богу, еще не украли. Я в 1869 г., значит, поступил в Академию, осенью. Так Петербурга не покидал. Летом на даче на Черной Речке жил у товарища. В 73<-м> я получил 4 серебр<яных> медали, в 74<-м> научные курсы кончил. Конкурировал я на Мал<ую> Золотую медаль “Милосердный Самаритянин” и получил. Потом ее Кузнецову в благодарность подарил. Она теперь в Красноярском музее висит.

А первая картина моя была: памятник Петра I при лунном освещении. Я долго ходил на Сенатскую площадь, наблюдал. Там фонари тогда в глубине горели, и на лошади блики. Ее Кузнецов тогда же купил. Она тоже в Музее Красноярском. Пока в Петербурге был, мне Кузнецов стипендию выдавал до самого конца. И премии еще брал всегда на конкурсах – то сто, то 50 р. Так что в деньгах я не нуждался и ни от брата, ни от матери ничего не получал. Петербург мне плох для здоровья был. Грудная у меня болезнь начиналась. Но в 73 г. я на лето в Сибирь поехал: Кузнецов в свое имение



меня в Минусинскую степь на промыслы позвал. Всё лето я там пробыл и совсем поправился.

В 75 г. я написал Апостола Павла пред судом Ирода Антипы на большую золотую медаль. Медаль мне присудили, а денег не дали. Там деньги разграбили. Это Вл. Вс. Кос. Он всюду, где было можно, денег требовал. А потом казначея Исеева судили и в Сибирь сослали. А для того, чтобы меня за границу послать, как полагалось, денег не хватило. И слава Богу! Ведь у меня какая мысль была: Клеопатру Египетскую написать. Ведь что бы со мной было! Но я классике очень благодарен. Мне она очень полезна была и в техническом смысле, и в колорите, и в композиции. Так мне вместо за-границы предложили работу в Храме Спасителя в Москве. Раск<ра>шивать. Я там первых четыре Вселенских Собора написал. Я как в Москву приехал — прямо спасен был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись. Работать для Храма Спасителя было трудно. Я хотел туда живых лиц ввести. Греков искал, но мне сказали: если так будете писать — нам не нужно. Ну я уже писал так, как требовали. Мне нужно было денег, чтобы стать свободным и начать свое.

Я в Петербурге еще задумал “Стрельцов” писать. Всё это с сибирскими воспоминаниями связалось. Как в Москву приехал, так всё передо мной встало. Очень соборы меня поразили. Особенно Василий Блаженный. Всё мне он кровавым казался. Тут я и этюд с него делал. И телеги всё рисовал. Очень я любил все деревянные принадлежности рисовать: дуги, оглобли, колеса, как что с чем связано. Для телег, в которых стрельцов привезли. Петр ведь тут между ними ходил. Один-то из стрельцов ему у плахи сказал: “Отодвинься-ка, Царь, тут мое место”. Я всё народ себе представлял, как он шумит: “подобно шуму вод многих”».

Затем разговор переходит на детство Петра I, на убийство Нарышкиных, как мо<ло>дой Нарышкин прятал<ся> под периной, когда его искали. Суриков, говоря об этом, волнуется, видимо, представляя себе душевное состояние того: «Вот я помню. Только нет... Вы этого не записывайте: мы еще в Красноярске пошли б... раздевать. И вот кто-то крикнул: “Парни идут!” Мы спасались от них. Ночь была лунная, мо-



розная. Мы долго бежали от них по улице. Я за ворота кинулся, спрятался. И вот слышал, как они мимо меня бегут, и не знал, заметят или нет».

Потом говорим о 1905 г.

«Я в жизни раз Иоанна Грозного видел. В 1897 г. раз на Zubовском бульваре ввечеру сидел. Человек, вижу, идет с палкой, отхаркивается. В шубе. Сгорбленный. И на меня поглядел. Глаза вовсе не свирепые, только пронизательные и умные. Вот, подумал, Иоанн Грозный. Если бы писал его, непременно таким бы написал. Но не хотелось тогда писать — Репин уже написал».

Разговор переходит на Репина, на изображение крови, на смертную казнь.

«Я два раза смертную казнь видел. Раз трех мужиков за поджог казнили. Один высокий парень был вроде Шаляпина, другой старик. Женщины лезут, плачут. Родственницы их. Я близко стоял. Их на телегах в белых рубахах привезли. Дали залп. На рубахах красные пятна появились. Два упали. А парень стоит. Потом и он упал. А потом вдруг, вижу, подымается. Еще дали залп. И опять подымается. Это такой ужас, я Вам скажу... Потом один офицер подошел, приставил револьвер, убил его. Вот у Толстого, помните описание, как поджигателей в Москве расстреливали. Там у одного, когда в яму свалили, плечо шевелилось. Я его спрашивал: “Вы это видели, Лев Николаевич?” Говорит — по рассказам. Только я думаю — видел. Не такой человек был. Это он скрывал. Наверное видел.

Еще раз я видел, как поляка казнили — Флерковского. Он во время переклички ножом офицера пырнул. Военное время было. Его приговорили. Мы, мальчишки, за телегой бежали. Его далеко за город везли. Он бледный вышел. Всё кричал: “Делайте то же, что я сделал”. Рубашку поправил. Ему умирать, а он рубашку поправляет. У меня прямо земля под ногами пошла, как залп дали.

Помню, одна женщина своего мужа убила — извозчика. Ее драли. Она думала, ее в юбках будут драть. На себя много надела. Так с нее палачи, как юбки сорвали, они по воздуху, как голуби, летели. Весь народ хохотал. А она, как кошка,



кричала. А то еще одного за тросженство клеймили, а он всё кричал: “Да за что же?”. Помню, еще одного драли. Он точно мученик стоял. Не крикнул ни разу. А мы все — мальчишки — на заборе сидели. Сперва тело красное стало. А потом синее. Одна венозная кровь текла. Спирт им нюхать дают.

На палачей мы, как на героев, смотрели. По именам их знали: какой Мишка, Сашка. Рубахи у них красные. Они так перед толпой похаживали. Расправляли плечи. Мы на них с удивлением смотрели. Это необыкновенные люди как-то.\*

Эшафот недалеско от училища был. Там на кобыле наказывали плетями. Вот теперь скажут— воспитание. А ведь это укрепляло. И принималось то, что хорошо. Меня всегда красота в этом, сила поражала. Черный эшафот, красные рубахи — красота! И сила какая бывала у людей. Сто плетей выдерживали, не крикнув. Помню, татарина наказывали. Он храбрился очень. А после второй плети начал кричать. Народ смеялся очень.

Кулачные бои помню. На Енисее зимой устраивались. И мы мальчишками дрались. Уездное и Духовное училища были в городе, так между ними антогонизм был постоянный. Мы всегда Фермопильское ущелье себе представляли: спартанцев и персов. Я Леонидом Спартанским всегда был».

*17 января.*

Беседа начинается с Сибири. В<асилий> И<ванович> с восторгом вспоминает: «Иглы в воздухе от мороза. Дохнуть нельзя»... Вспоминает: кладбище над Енисеем. «Красивое место. Атаманская могила, там купец ему красивую могилу сделал».

Потом разговор переходит снова на казни и на изображение крови.

«Ведь когда я “Стрельцов” писал, я ночи спать не мог. Всё кровь во сне видел и казни. Боялся ночей. Запах крови всё мне чувствовался. У меня в картине крови не изображено, и казнь не начиналась. А я ведь это всё в себе переживал».

---

\* *Далее зачеркнуто:* «(Когда я стрельцов писал, я целые ночи не спал. Боялся ночей. Всё мне это снилось. Кровь видел. Запах крови чувствовал)».

Разговор переходит на Репина и на катастрофу с его картиной. За несколько дней до ее порчи мы мельком говорили с В<асилием> И<вановичем> об ней. За 2 дня я забежал к нему, чтобы показать раньше мою статью «О смысле катастрофы, пост<игшей> кар<тину> Р<епина>».

От него повез в редакцию. Он всё говорил: «Ах, если б только напечатали. Это очень нужно сказать». Накануне она появилась в «Утре России».

«Вот у Репина сгусток крови черный, липкий. Разве это так бывает? Ведь это он только для страха. Она широкой струей течет, алой, светлой. Это через час она так застыть может. Я бы композицию не так написал. Я бы их отодвинул влево, чтобы размах был. А с другой стороны, чтобы стул был опрокинут.

Помню, как “Стрельцов” я уже кончил почти. Присажат Илья Еф<имович> посмотреть и говорит: “Что же у вас ни одного казненного нет? Вы бы вот здесь на виселице бы на правом плане повесили бы хоть”. Как он усхал, мне и захотелось попробовать. Я знал, что нельзя, а хотелось знать, что получилось бы. Я пририсовал мелом фигуру стрельца повешенного. А тут нянька в комнату вошла, как увидела, так без чувств и грохнулась. Да разве так можно? Еще в этот день П.М. Третьяков заехал. “Что, – говорит, – вы картину всю испортить хотите?” Да чтобы я так свою душу продал?»

Разговор переходит на манеру работы. Я спрашиваю о палитре: Вас<илий> Ив<анович> употребляет охры, кобальт, ультрамарин, сиену нат<уральную> и жженую, оксид руж, кадмий темн<ый> и оранж<евый>, краплаки, изумрудн<ую> зелень, индейск<ую> желт<ую>.

Зелень изумр<удную> только для драпировки – не в тело. Тело только охрами, краплагом и кобальтом. Черные составляет из ультрамарина, краплака и индейск<ой> желтой. Иногда персик<овую> черную: умбра редко. Белила кремницкие.

«Всё с природы писал: и сани, и дрова. Мы на Долгоруковской жили, тогда ее еще Новой Слободой звали, у Подвисков. Там всегда в переулках глубокие сугробы были и ухабы. Я за розвальнями ходил, смотрел, как они след оставляют.



Для “Боярыни Морозовой”. А Юродивого там так я прямо на снегу писал. На толкучке его нашел — огурцами торговал. Вижу — он. Такой вот череп у таких людей бывает. Говорю: “Идем”. Уговорил его. Идет за мной — всё через столбики перескакивает. Я оглядываюсь, а он качает головой: “Ничего, мол, не обману”. В начале зимы было. Снег талый. Я его так на снегу и писал. Водки ему дал. И ноги водкой натер. Алкоголики они ведь все. Так он в одной холщевой рубахе босиком у меня сидел. Ноги у него даже посинели.\* Я ему 3 рубля дал. Это для него большие деньги были. А он первым делом лихача нанял за рупь семьдесят пять копеек. Вот какие люди были. Икона у меня была нарисована, так он всё на нее крестился и говорил: “Теперь я всей толкучке расскажу, какие иконы бывают”. Так на снегу его и писал. На снегу писать — всё иное. Вон пишут на снегу силуэтами. А на снегу всё пропитано светом. Всё в рефлексах лиловых и розовых. Вон как одежда боярыни Морозовой верхняя, черная. И рубахи в толпе. Нарочно по [снегу] на розвальнях проедешь, чтобы снег развалило, а потом начнешь колею писать. И чувствуешь тут бедность крас<ок>.

Трудно очень было лицо для “Боярыни Морозовой” найти. Ведь я столько его времени искал. В селе Преображенском на старообрядческом кладбище — ведь вот где ее нашел. Богомолка одна. Всё лицо мелко было. Всё в толпе терялось. А она всё победила. Такое лицо, что воистину победило. Там в Преображенском все меня знали. Даже старушки мне себя рисовать позволяли и девушки-начетчицы. Нравилось им, что я казак и не курю. А священника у меня в толпе в “Боярыне Морозовой” помните? Это целый тип у меня создан. Это когда меня из Бузима учиться посылали, раз я с дьячком ехал — Варсонофием. Мне 8 лет было. У него тут косички подвязаны. Въезжаем мы в село Погорелое. Он говорит: “Ты, Вася, поддержи лошадь, я найду в Капернаум”. Купил себе зеленый штоф, и там уже клюкнул. “Ну, — говорит, — Вася, ты правь”. Я дорогу знал. А он сел на грядку, ноги свесил. Отопьет из штофа и на свет посмотрит. Точно вот у Пушки-

\* Далее зачеркнуто: «Ведь на снегу писать — всё иное».

на — Варфоломей в “Сцене в корчме”. Ведь он знал русский народ. И песню еще Варсонофий пел. Я и слова все еще до сих пор помню:

Монах снова испугался (так и начиналось),  
В свою келью отправлялся,  
Ризу надевал.  
Большу книгу в руки брал.  
Очки поправлял.  
Бросил книгу и очки,  
Разорвал ризу в клочки,  
Сам пошел плясать.  
Наплясался-да до воли,  
Захотел он доброй воли,  
Вышел на крыльцо.  
Стукнул, брякнул во кольцо —  
Ворон конь бежит.  
На коня монах сажился,  
Под монахом конь бодрился  
В зеленых лугах.  
Во зеленых во лужочках  
Ходят девушки кружочком.  
Девиц не нашел.  
К честной девушке зашел.  
Тут я лягу спать.  
На полу монах ложился,  
На перинке очутился:  
Видит, что беда.  
Что она да ни имела...  
Съел корову да быка  
Да ребенка тредьяка.

А дальше не помню. Всё у него путалось. Так всю дорогу пел. Да всё в штоф смотрел. Не закусывал, всё пил. Только утром его привез в Красноярск. Всю ночь ехали. Дорога опасная — горные спуски. А утром в городе люди смотрят — смеются».

В<асилий> И<ванович> снова возвращается к детским воспоминаниям:



«Я верхом рано стал ездить — с 7 лет. Помню еще, мне кушак подарили и шубу. Отъехал я. А конь всё назад заворачивает. Я его изо всех сил тяну. А была наледь. Конь поскользнулся и вместе со мною упал. Я прямо в воду. Мокрая вся шубка-то новая. Стыдно было домой возвращаться. Я к казакам пошел: меня обсушили. А то раз я на лошади через забор скакал. Конь копытом забор и задень. Я через голову и прямо на ноги стал и к нему лицом. Вот он удивился, думаю... А то еще — тоже семи лет было, с мальчишками со скирды катались, да на свинью попали. Она гналась за нами. Одно-го мальчишкухватила, а я успел через поскотину перелезть. Бык тоже гнался за мной. Я от него опять же за поскотину спасся, да с яра да прямо в реку — в Тубу. Собака на меня цепная бросилась. С цепи вдруг сорвалась. Но сама ли удивилась: остановилась и хвостом вдруг завиляла... Да и после случалось со мною: вот в Испании я раз заблудился. В Эскуриал посхали. Петр Петрович и говорит: пойдите порисовать акварели. Я от него отошел. Рисовал. А потом, думаю: вот только один холм перейти... Шел, шел. Поздно ночью только на железн<ую> дорогу вышел».

Про Тинторетто: «Кисть-то у него просто свистит. Черно-малиновые эти мантии...»

«Помню, когда “Боярыня Морозова” была выставлена, я на выставке был. Мне говорят: Стасов Вас ищет. И бросился это он меня обнимать при всей публике. Прямо скандал... “Что Вы, говорит, со мной сделали?”. Плачет ведь — со слезами на глазах. А я ему говорю: “Да, что Вы меня-то... (уж не знаю, что делать — неловко) вот ведь здесь «Грешница» Поленова”. А Поленов-то ведь тут стоит с женой за перегородкой. Он славы тогда искал. А он громко говорит: “Что Поленов? Говно написал...”. Я ему: “Что Вы — ведь слышит...”. А Поленов, и как не стыдно ему, — письма мне ведь писал: всё направить хотел; вот вы “Декабристов” напишите. Только я думаю про себя: “Нет, ничего этого я писать не буду”...

...Это ведь так судят: когда у меня “Стенька” был выставлен, публика справлялась: где же княжна? А я говорю — вон круги-то по воде (а круги-то от вёсел) — только что бросил.

Ведь публика так смотрит: “Раз Иоанн Грозный – то сына убивает; раз Стенька, то с княжной персидской”.

А Иоанна Грозного я раз видел. Ночью в Москве, на Зубовском бульваре встретил. Идет в лисьей шубе, в шапке меховой. На меня так воззрился боком. Глаза с жилками, борода с сединой. Пил, верно, много. Совсем Иоанн. Я вот его таким вижу».

Разговор как-то переходит на Льва Толстого.

«Софья Андреевна заставляла Льва в обруч скакать, прорывать бумагу. Не любил я у них бывать – из-за нее. Прихожу я раз, Лев Николасвич сидит: у него на руках шерсть, а она мотает. И довольна: вот что у меня, мол, Лев Толстой делает. Противно».

Я перевожу разговор снова на «Утро стрелецкой казни».

«По окончании работ в Храме Спасителя я за “Стрельцов” принялся. Я их задумал, еще когда в Петербург ехал. Тогда еще красоту Москвы увидел. Памятники, площади – вот они мне дали ту обстановку, в которую я мог поместить свои сибирские впечатления. Я на памятники, как на живых людей смотрел, расспрашивал их: вы видели, вы слышали, вы свидетели. Только ни слова мне не говорят. Я вот в пример скажу: верю в Бориса Годунова и в Самозванца только потому, что надписи про них на Иване Великом. А вот у Пушкина – не верю: очень это красиво, точно сказка. А памятники всё сами видели: и царей в одеждах, и царевен. Живые свидетели. Стены я допрашиваю, а не книги. В Лувре вот быки ассирийские стоят. Я на них смотрел и не быки меня поражали, а то, что у них копыта стертые – значит, люди здесь ходили. Вот что меня поражает. Я в Риме, в соборе Петра в Петров день был. На колени стал над его гробницей и думал: вот здесь он лежит. Исторические кости. Весь мир о нем думает, а он здесь – тронуть можно.

Когда я “Стрельцов” писал, я ужаснейшие сны видел; каждую ночь казни видел. Кровью пахнет. Проснешься и обрадуешься. Посмотришь на картину: “Слава Богу, никакого ужаса в ней нет”. Всё боялся, не пробужду ли в зрителе неприятного чувства. Я сам-то свят был, а вот другие...



Когда я их задумал, у меня все сразу лица так и возникли. И цветовая раскраска вместе с композицией. Я ведь живу от самого холста. От него всё возникает. Помните, там стрелец с черной бородой — это Степан Феодорович Торгошин — брат моей матери. А бабы — это, знаете ли, — это у меня и в родне были такие старушки. Сарафанницы были, хоть и казачки.

А рыжий стрелец — это могильщик на кладбище был. Я ему говорю: “Поедем ко мне — попозируй”. Он уж занес было ногу в сани. А товарищи начали смеяться. Он говорит: не хочу. И по характеру совсем такой, как стрелец. Глаза глубоко сидящие меня поразили. Злой, непокорный тип. Кузьмой звали. Случайность. На ловца и зверь бежит. Насилу его уговорил. Он как позировал — всё меня спрашивал: “Что, мне голову, что ли, рубить будут?” А меня чувство деликатности останавливало говорить тем, с кого я писал, что казнь пишу. Всё была у меня мысль, чтобы зрителя не потревожило. Чтобы спокойствие во всем было.

Петр у меня с портрета заграничного путешествия. А костюм я у Корба взял.

“Стрельцы” у меня в 78 году начаты были, а закончены в 81 г. А в 81 году поехал я жить в деревню — в Перерву. Жил в избушке — нищенской. И жена с детьми. Тесно. Выйти нельзя — дождь. Здесь мне всё и думалось: кто же это так вот в низкой избе сидел? И поехал я раз в Москву за холстами, иду по Красной площади. И вдруг\* — Меншиков. Сразу всю картину увидел. Весь узел композиции. Радость была необычайная. Я о покупках забыл. Сейчас кинулся назад в Перерву. Потом ездил в имение Меншикова в Клинском уезде. Нашел бюст его. Мне маску сняли. Я с нее писал. А потом нашел еще учителя старика — Невенгловского — он мне позировал. Писатель Михеев потом целый роман из этого сделал. Раз по Пречистенскому бульвару идет, вижу, Меншиков. Учителем был математики в Первой гимназии, в отставке. В первый раз и не пустил меня. Во второй раз пустил. Позволил. На антресолях у него писал. В халате, перстень на руке, небритый — совсем Меншиков. Думаю, еще обидится — говорю: “Суворова с Вас рисовать буду”. А Меншикову я с жены по-

\* *Далее зачеркнуто: «вспомнил».*



койной писал. А другую дочь с барышни одной. Сына писал в Москве с одного молодого человека — Шмаровина-сына. Картину в 83 году выставил.

А “Боярыню Морозову” я задумал еще раньше Меншикова — сейчас после “Стрельцов”. Но потом, чтобы отдохнуть, Меншикова начал. Но первый эскиз “Морозовой” еще в 81 году сделал, а писать ее начал в 84 году, а выставил в 87 г. Я ее на третьем холсте написал. Первый был мал. Этот я из Парижа выписал. Я три года для нее материал собирал. Ведь Морозова у меня вся на снегу написана. Всё плэн-эр. Я с 78 года уже пленеристом стал: “Стрельцов” тоже на воздухе писал. А в типе боярыни Морозовой — тут тетка одна моя — Авдотья Васильевна, что была за дядей Степан<ом> Феодоровичем — тем, что с черной бородой (стрелец). Она мне по типу Настасью Филипповну из Достоевского напоминала. Она стала к старой вере склоняться. Мать моя, помню, возмущалась: всё у нее странники да богомолки. В Третьяковке это, как я ее написал.

Только я на картине сперва толпу написал, а ее после. И как ни напишу ее лицо — толпа бьет. И была у меня знакомая старушка Степанида Варфоломеевна из старообрядок. Они в Медвежьем переулке жили. У них молитвенный дом был. Я с них всех этюды писал. Потом их на Преображенское кладбище выселили. И вот приехала к ним начетчица с Урала Анастасия Михайловна. Я с нее написал этюд в садике в два часа. Как вставил ее в картину, так она всех победила.

“Персты рук твоих тонкостны, а очи твои молниеносны... Кидаешься ты на врагов, как лев...” Это протопоп Аввакум сказал про Морозову, и больше ничего про нее нет.

Александр III подошел к картине: “А, это юродивый”, — говорит. Всё по лицам разобрал. А у меня горло от волнения ссохлось, не мог говорить. А другие-то, как лягавые псы, кругом.

Я на него смотрю как на представителя народа. Никогда не забуду, как во время коронации мы стояли с Боголюбовым. Я ждал, что он с другого конца выйдет. А он вдруг мимо меня — громадный — я ему по плечо был: в мантии и выше всех головой. Идет и ногами так сзади мантию отки-



дывает. Так и остались в глазах сзади плечи. Видно сразу, что представитель всего народа. Грандиозное что-то в нем было. Я государыни и не заметил с ним рядом. А памятник этот у Храма Спасителя никуда не годится. Опекушин не понял его. Я ведь помню. И лоб у него был другой, и корона иначе сидела. А у него приземистая какая-то, и сапоги солдатские. Ничего этого не было.

Да, о картине-то... Когда общая идея-то у меня уж содалась, я материалы всё собирал. Я всё по улицам за санями ходил — за розвальнями, на раскатах особенно. Я на Долгоруковской жил у Подвисков, в доме Збук. (Тогда она еще Новой Слободой звалась). Там у Подвисков в переулке всегда сугробы были, и розвальней много. Переулки там смотрел, и крыши где высокие. Церковь-то в глубине это Николы, что на Долгоруковской.

А девушку в толпе — это я со Сперанской писал, она тогда в монашки готовилась. А поп там — это с дьячка, что в Сибири-то еще, я Вам рассказывал, по воспоминанию. А те, что кланяются, — все со старообрядочек с Преображенского написаны.

Я картину начал в 1885 году писать, в Мытищах жил — последняя избушка с краю. И тут я штрихи ловил. Помните посох-то, что у странника в руках? Это странница одна проходила мимо с этим посохом. Я схватил акварель да за ней. А она уж отошла. Кричу ей: “Бабушка! Бабушка! Дай посох!” Она думала, что разбойник я.

А дуги-то, телеги для “Стрельцов” — это я по рынкам писал. Пишешь и думаешь, что это самое важное во всей картине. На колесах-то грязь. Раньше-то Москва немощеная была — грязь была черная. Кое-где прилипнет, а рядом сребром блестит чистое железо. И вот среди всех драм, что я писал, я эти детали любил. Всюду красоту любил. Никогда не было желания потрясти. Когда я телегу видел, я каждому колесу готов был в ноги поклониться. В дровнях-то какая красота, в копылках, в вязах, в саноотводах. А в изгибах полозьев какая красота, как они колышатся, и блестят, как кованые. Я, бывало, мальчиком еще, переверну санки и рассматриваю,

как эти полозья блестят, какие извивы у них. Ведь русские дровни воспеть нужно.

...И женские лица русские очень любил, не попорченные ничем, нетронутые. Среди учащихся в провинции попадаются еще такие лица. А мужские лица по несколько раз переписывал. Размах, удаль мне нравились. Каждого лица хотел смысл постичь. Мальчиком еще, помню, в лица всё вглядывался — думал: почему это так красиво? Знаете, что значит симпатичное лицо? Это там, где черты сгармонированы. Пусть нос курносый и скулы, а всё сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали — сущность красоты. А эти элементы, вот греческую красоту, можно и в остяке найти...

...Женился я в 1878 году. Мать жены была Свистунова — декабриста дочь. А отец — француз. “Морозову” выставил в 87 г. А в 1888 жена умерла, 7 апреля. Я после смерти жены “Исцеление слепорожденного” написал. Лично для себя написал. А потом в том же году уехал я в Сибирь. Встряхнуться. И тогда от драм к большой жизнерадостности перешел. У меня всегда такие скачки к жизнерадостности были.

Написал тогда бытовую картину: “Городок берут”. Необычайную силу духа я тогда из Сибири привез. А в 91 г. начал я “Покорение Сибири” писать. По всей Сибири ездил, материалы собирал. По Оби этюды делал. К 95 г. кончил и выставил, а в том же году начал “Суворова” писать. И случайно попал к столетию в 99 году. В 98 году ездил в Швейцарию писать этюды.

С 1900 начал для “Стеньки Разина” собирать материалы, а выставил в 1907. В самую революцию попало. В Сибирь и на Дон для него ездил. С 1908 “Посещение царевны”. Выставил <в> 1913.

Суворов у меня с одного казачьего офицера написан. Он и теперь жив еще. Ему под 90 лет. Но главное в картине — движение — это храбрость, беззаветное движение — покорные слову полководца идут. Толстой очень против был.

А когда “Ермака” увидел — говорит: это потому, что вы — верили, оно и производит впечатление. А я ведь летописи не читал... Она сама мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я Кунгурскую летопись потом начал



читать – вижу, совсем, как у меня. Совсем похоже. В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины – угадывание. Если только сам дух времени соблюден, в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда всё точка в точку – противно даже».

...«Кони степные с большими головами – тарпаны».

«Если б я Ад писал, то сам бы в огне сидел и в огне бы позировать заставлял».

«...Старик в “Стрельцах” – ссыльный лет 70-ти. Шел, мешок нес, раскачивался от слабости и народу кланялся.

...“Утро Стрелецких Казней” – хорошо их кто-то назвал. Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь...

...Ведь в Красноярске до железной дороги никто и не знал, что там за горами. Мать моя родилась в Торгошино – Торгошино было под горой. А что за горой – никто не знал. Было там еще за 20 верст Свищево. В Свищеве у меня родственники были. А за Свищевым 500 верст лесу до самой китайской границы. И медведей полно. И никто не знал, что там. До 50-х годов девятнадцатого столетия всё было полно – реки рыбой, леса – дичью, земля золотом.

И в золотопромышленниках размах был – эпическая была жизнь.

...Я в детстве только классическим искусством жил. Ассирийские памятники. Снимки их были у отца. Еще в Бузуме помню – мне 6 лет было. Страшную их оригинальность я чувствовал.

...У матери была художественность в определениях: посмотрит на человека и одним словом определит.

...Помню, отец говорил: “Вот Исаакиевский Собор открыли... вот картину Иванова привезли...” А ведь это в Бузуме было...

В Сибири раз видел на улице Буташевича-Петрашевского. Полный, в цилиндре шел, бородка с проседью, и глаза выпуклые – огненные. Прямо очень держался. Я спросил: кто это? Политический, говорят. Его Мономаном звали. Он

присяжным поверенным в Красноярске был. Щапова тоже встречал, когда он приезжал материалы собирать.

...Иванов — прямое продолжение школы прерафаэлитов — усовершенствованное. Никто не мог так нарисовать, как он. Как он каждый мускул мог проследить со всеми разветвлениями в глубину».

Показывая этюд девушки с сильным скуластым лицом: «Вот царевна Софья, какая должна была быть, а не такая, как у Репина. Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабой пойти? Их вот такая красота могла волновать, взмах бровей, быть может.

...Пугачева я знал. У одного казацкого офицера такое лицо...».

## 1915 год

*Париж. 1915 г. 5 марта. Вечером.*

Бальмонт лежит. Я сижу рядом, опершись рукой через его ноги:

«Да, это было в марте 1890 г. — двадцать пять лет назад. Раньше — Лариса отняла меня у моей невесты. У меня была неврастения. Я был исключен из университета. Посхал в Шую к родным. Вечером мы сидели — она положила голову на плечо... Утром, лишь зашли в мою комнату: “Я сейчас еду в Иваново-Вознесенск. Хочешь со мною?” Я поехал. Она играла со мной. Обещала поцеловать. Потом поцеловала. Через 2 месяца мы были женаты. Она ревновала. После первой ночи я понял, что ошибся. Она так ревновала. Даже от матери хотела удалить меня. Наш первый ребенок умер. Мать ей сказала: “Это ваша собственная вина”. Это было несправедливо. Ребенок умер от менингита. Лариса бросила салфетку в потолок и сказала: “Нога моя больше не будет в этом проклятом доме”. Отец подошел к ней. Он был тогда накануне самоубийства. Он, честнейший человек, был тогда обвинен в растрате — он был председатель земской управы. Пропало 20 тысяч. Потом оказалось, что бумаги завалились за шкаф... Дурак секретарь. Но это позже узналось... Я ему сказал — я еду